

В маленьком сквере населенного пункта N, именуемого поселком городского типа, лежал на скамейке странного вида господин. Странность его заключалась в одежде, абсолютно не соответствовавшей месту и времени суток. Скверик был пыльный и грязный, примыкающий к пристани, от которой ежедневно отходил паром, перевозивший редких пассажиров на другой берег реки. Человек был одет в роскошный, местами запылившийся смокинг. Лучи жаркого полуденного солнца играли радужными искрами на запонках его белоснежной рубашки, а лаковые туфли, казалось, сейчас растекутся нефтяной лужей по скамейке, обоссанной котами и алкоголиками. Чудовищное несоответствие портрета и пейзажа вызывало волнение, если не сказать – беспокойство. Возле него стояли два чемодана и множество мелкого багажа: баулы, сумки, рюкзаки и коробки, а под голову господина вместо подушки был подложен кожаный кейс.

Можно было бы предположить, что господин – заезжая знаменитость, отставшая от труппы или оркестра. Еще таким образом мог выглядеть жених, сбежавший с собственной свадьбы, или покойник, одетый по случаю своих похорон.

На лице спящего застыла гримаса отвращения. Наконец неудобная поза, в которой он долгое время находился, похоже, утомила его, и он пошевелился. Открыв глаза, человек тотчас же принял вертикальное положение. Засунув руку в карман, вынул айфон. После неудачных попыток с кем-то связаться отшвырнул его в сторону. Слова, которые он заорал в пространство, тоже не очень-то вязались с его respectable-ным видом: «Сранные мудаки! Сранный город и сраная связь!»

Он посмотрел по сторонам и, не заметив никого, кроме испуганно вспорхнувшего воробья, затих. Воробей, недолго покружив над хилой порослью сквера, спланировал на центральную фигуру пересохшего фонтана с пионером и пионеркой. Фонтан когда-то давно олицетворял картинку счастливого детства: постамент украшали каменные книга,

чернильница с допотопной перьевой ручкой, барабан и пионерский костер. Время их пощадило, а вот детишки лишились некоторых частей тела: девочка – уха вместе с половиной головы, а мальчик – руки с горном. Воробей выбрал уцелевшую голову и уселся на нее, слегка подолбив по макушке. Человек скривился от боли, словно это его стукнули по темечку. Если бы воробей мог слышать внутренний голос странного господина, то он бы не искушал судьбу и давно улетел, но сверкание запонок, похоже, не давало ему покоя.

«Сорок лет прошло, а ничего в этой дыре не изменилось, – подумал незнакомец, – даже эта скамейка».

Он провел рукой по спинке скамьи, выкрашенной ядовитой зеленью.

«Тут где-то должно быть... А, вот, нашел: “Толя + Оля = ...!” Сколько мне тогда было, тринадцать или больше? Кто вообще эта Оля? Та, что села за недостатку в продмаге, или та, что с Бутцем спуталась и напоролась на перо? Господи, о чем я думаю?»

Господин тоскливо оглянулся по сторонам и посмотрел на часы. Они тоже абсолютно не соответствовали месту действия. Солнечный луч, попав на циферблат, усилился, вобрав в себя бесстыдный блеск роскоши и, как мечом, ударил по фонтану. Пионеры не дрогнули, воробей уцелел, а господин еще больше затосковал.

«Зачем было сюда ехать? Что за бред! Кто сказал, что поможет? Кто вообще знает, что поможет? Ну, заехал, посмотрел, и что? Дом развалился, могилы заросли, народ выродился, все самогоном пропахло – люди, квартиры, собаки. У них плотину снесло! Господи! Разве только плотину? Что значит – нет связи с другим берегом? Почему никто не знает, когда отойдет паром?»

Он опять посмотрел на мертвый мобильник и с раздражением спрятал его в карман.

«А эти, в офисе, планктон дебильный, ну нет связи, так что? Отрядили вертолет – и тут. Паша, подонок, партнер гребаный, глаза прячет, дикие бабки крутым эскулапам платит. Не торопись, Паша, и вы, господа коновалы, хоть оно там в моей башке метастазирует, еще не ясно, какой эффект попутно возникает. Станный, надо сказать, эффект. Раньше ни хрена не мог вспомнить – что было год, месяц назад, даже вчера... Вот убей не помню, как доехал, зато ясно вижу, как иду с дружкой по пристани, а мне десять лет, не больше. Так отчетливо все: свет, тени, даже звуки и запахи, что кажется – рядом кто станет, тоже увидит».

Он резко обернулся, словно хотел проверить, не стоит ли кто за его спиной. Там никого не было. Взгляд человека застыл, казалось, что он проваливается в сон, как вдруг очнулся, и в глазах его появился безумный блеск.

«А что, неплохо бы в прошлое провалиться и все по-новому развести! Вот тут река, дождь, туманом пристань затянуло, а по ней банку консервную ветер мотает. Банка дребезжит, а края ее зубастые, волнистые – сразу видно, что ножом вскрывали. Севка мне спасовал, я – ему. Гоняем ее, заводимся, отталкиваем друг друга. Он старше и сильнее, фамилия его похожа на погонялово – Бутц. Севка крепкий, но тупой, как ботинок, и не оттеснишь его, не дотянешься ногой. Я злюсь, кусаюсь, как щенок, а Бутц захватывает меня за шею и отрывает от земли. Ноги болтаются, сучу ими в воздухе, не вздохнуть. Придушит вот-вот. Дотягиваюсь до кармана, где ножичек перочинный припрятан, и ударяю им, куда попаду. Шея свободна, а нож, как жало, торчит в Севкином бедре. А дальше – только свист в ушах и бег...

Не поймал меня тогда, зато потом по жизни “догнал” на всю катушку. Запугал, что в милицию сдаст, и превратил сосунка десятилетнего в раба. Эх, если бы провалиться туда и все по-своему развести...»

Возбуждение утихло. Человек огляделся вокруг мутными со сна глазами. Откинулся на спинку скамьи.

«Стоп, еще раз... Почему я здесь? Почему еще до сих пор торчу в этом городе и отсюда только один путь – паромом через реку? Что там с поездами и автотранспортом? Не на острове же я! Почему старый ма-разматик паромщик требует багажную квитанцию, которую мне должны выдать в кассе, но не выдают, поскольку у меня перевес багажа? Все это безумный бред! А может, я сплю, или “морфушка” догнала? Нет, не похоже. Вижу пристань, кассу, столб с репродуктором, воробья вижу – там, над пионерами... Охренеть, до сих пор тут стоят пионеры-пенсионеры, вроде меня самого. Но было же, было, твою мать, счастливое детство: “Будь готов! Всегда готов!” на всё и со всеми... Столько раз в фонтане этом отмывал кровавые сопли, хлебая вонючую воду с похмелья. Ну стойте, стойте на посту, и я с вами постою, пока в этой стране все не рухнет к чертям собачьим».

Солнце уже прошло самую высокую точку и скатилось набок, запутавшись в редких сетях листвы над скамейкой. Поблизости никакой другой тени не наблюдалось, и человек, распустив узел галстука, тяжело вздохнул.

«Жара! Почему на мне этот идиотский костюм? Неужели я прямо из театра рванул? Ни хрена не помню. Нет, помню мальчика. Там, в опере этих итальяшек глюкозных, мальчик пел. Вылитый я в детстве. Может, тогда я и затребовал вертолет, а Паша быстренько организовал? Что-то не так. Почему без охраны отправил? Где вертолет, почему не ждет? Тут лёту до столицы часа полтора, не больше. Хорошо, ладно, я согласен паромом. Ну так дайте на него сесть! Не пускают с моим багажом! Ну не смех? Паромщик-идиот не признал меня. Этот старый хрен не может не знать знаменитого земляка с голосом Робертино Лоретти. Хорошо, бескультурная свинья, допустим, ты не интересовался музыкой, но про местного бандита по кличке “Солист”, который превратился в миллионера А.Я. Сухинина, о котором тряндят всякие небылицы по ящику, ты должен был слышать! Эх, ребята, да я вас всех с этой речкой, пристанью, городом и паромом купить могу, а вы мне “квитанцию давай”. Я паромщику говорю: “Ты глаза-то разуй! Не видишь, кто перед тобой? Ты сам должен был мне мои вещички поднести и погрузить, а я тебе за это щедрые чаевые заплатил бы”. А он аж трясется: “Перевес, – кричит, – не пушу!”»

Господин Сухинин посмотрел на длинную вереницу чемоданов, баулов, рюкзаков, сумок и портфелей, которая закрутилась кольцами, как змея, вокруг старой скамейки.

«Откуда это все? Я, что ли, это привез, или тут надавали? Может, мне этот хлам ни к чему, но это я решаю. Что значит, у пассажиров по одному чемодану, а у других и того нет? Давай доплачу за перевес, так старик такую хрень понёс – не доплыву, не положено. То есть, другие на этом пароме доплывут, а я ко дну пойду? Подонок малахольный! Надо бы опять туда сходить. Утром пассажиров было немного – человек семь, все налегке. Местные они, чего им возить. Паромщик сказал, что выписана дюжина билетов. Поплывут, когда все соберутся. Мой билет тоже был выписан, но в последнюю очередь, как дополнительный. Не ожидали, что я появлюсь. Так я и сам не ожидал. Старик сказал, что

могут не взять. Пусть попробуют! Камня на камне не оставлю. Фигня какая-то с пассажирами – сидят, молчат. Ребенок ходит рядом, один, без родителей, хоть бы кто слово сказал. Странная такая девочка, лет шести. Подошла, за руку взяла. Чувствую, что тянет меня к парому и молчит. Я оглядываюсь по сторонам, спрашиваю, где ее мама с папой, а она как воды в рот набрала, а за щекой, похоже, конфету держит. Тут паромщик как из-под земли нарисовался и хватить девчущку, а она ему в руку эту конфету выплюнула – странную такую, блестящую, вроде монетки. Смотрю, тащит ее на паром. Самое время багаж туда незаметно пристроить. Понес чемоданы по трапу, но дальше опять хрень – они, как свинцовые, с места не сдвинуть. Так и простоял, как идиот».

Нарядный господин задумчиво прошелся вдоль цепочки валявшегося в пыли багажа. В конце нашел фельдшерский баул, напоминавший распаренный и мятый баклажан.

«Может, и правда – мне это все ни к чему?» – подумал он и отщелкнул замочек. Порывшись, извлек фонендоскоп, покрутил его в руках, надел на шею.

Уже не злоба, а тоска была на его лице. Он устало опустил на скамейку, задумался,

«Это все, что осталось от отца. Мы так и не встретились. Не помню, чтобы мама когда-нибудь рассказывала, как его забрали. Боялась. Теперь я странным образом чувствую ее боль, смотрю ее глазами: за окном, в закатном солнце, кровотоцит Москва-река. В комнате тихо, только тикают ходики и стучит швейная машинка. Стол накрыт к ужину. Мама отрывается от шитья, когда слышит шаги в прихожей. Она поворачивает голову. Перед ней стоит человек с длинным унылым лицом, на котором висит длинный унылый нос, а под ним на шее уныло болтается фонендоскоп. Мама обнимает его и ласково спрашивает:

– Яша, съешь супу?

Он вытирает носовым платком лысую голову, лицо, глаза и нежно гладит круглый мамин живот, обтянутый цветастым ситцем. Целует ее в лоб и отвечает, что не голоден. Немой вопрос застыл в ее глазах. Папа вздыхает и успокаивает, что был вызван по пустячному делу, что фамилия и национальность никоим образом с этим делом не связаны и волноваться нечего. Я сижу внутри маминого живота и уже точно знаю, что долго не высижу, что мама преждевременно родит после известия о папином аресте и что папа больше никогда не вернется. Ему просто не повезет. Он умрет во время следствия. Других врачей выпустят, реабилитируют, а он не выдержит допросов. Маму с младенцем на руках выселят из ведомственной квартиры. Она переедет в этот гнилой городок к дальней родне и будет остаток жизни отрабатывать угол и крышу шитьем и перелицовкой. От папы, знаменитого доктора, останутся пара фотографий, орден, фонендоскоп, аптечка и я, Анатолий Сухинин, по отцу – Каган, взявший в момент оформления паспорта девичью фамилию матери. Вот и вся память об отце. Мать об этом говорить не хотела, расспросы пресекала. О чем было говорить – вокруг сплошь безотцовщина. Во всей нашей дворовой гоп-компании только у Петьки был отец, но полный инвалид. Как говорила Петькина мать, да и моя с этим соглашалась, лучше бы он помер целиком, а не наполовину. Отцы наши гнили кто в земле, кто на нарах, а мы грызлись как голодные псы. Время было такое. По большому счету в этом бауле нет ничего личного, лишь генетическая память всего поколения. Что уж теперь? На кого обижаться? Кому предъявлять претензии? Вождям, толпе? Взывать к справедливости, переписывать

историю? Ее сколько ни переписывай, правды не сыщешь, но и не спрячешь. Разве я сын своего отца? Нет – я сын “трудового народа”, “сын полка” и зоны. Они воспитали меня. С них теперь и спрос».

Анатолий Яковлевич сташил с шеи фонендоскоп, раздраженно бросил его на скамейку, потом скинул пиджак, отстегнул запонки, закатал рукава рубашки и вернулся к стоящему неподалеку багажу. Вглядываясь в чемоданы, ящички, сумки, баулы, наконец нашел то, что искал. В руках его был непонятный предмет, напоминающий коробку от торта.

«Мамина коробка для шитья. Есть тут одна вещица, вот: подушечка для иголок. Помню, как мне, семилетнему шалопаяу, пришло в голову на все иголки, воткнутые в нее, нанизать мух. В результате подушечка была изгажена. Мама плакала. Наверное, это был единственный раз в жизни, когда я почувствовал перед ней свою вину. Потом такого не случилось – я был всегда прав».

Из коробки посыпались пуговицы, лоскутки, шнурочки, тесемки...

«Новую подушечку я решил сделать сам. Вот она – кривой ежик. Мама обрадовалась и, поцеловав в макушку, сказала, что это самый дорогой подарок. Ей было за тридцать, когда я родился. Женщина войны, вытянувшая счастливый билетик: ее Яшенька вернулся с войны живой и невредимый, с руками и ногами. Ей можно было позавидовать: умный, добрый, аккуратный, любящий. Он купил ей швейную машинку “Зингер” и не жалел денег на отрезки шифона, на шляпки и перчатки, туфельки и сумочки. Мария была модница. Ей вслед заглядывались мужчины. Столичная жизнь длилась недолго. Когда после ареста отца и его смерти нам пришлось уехать, мама перевезла сюда все самое дорогое: меня и швейную машинку “Зингер”. В ее шляпной коробке должны лежать шляпка, шарфик и перчатки цвета чайной розы».

Он осторожно извлек из коробки почти бесцветный отрезок газовой материи, изъеденный молью и рассыпающийся на глазах. Затем он вынул сверток, развернул старую газету, из которой выпал конверт со старой виниловой пластинкой размером с блюдце.

«Робертино Лоретти, – усмехнулся Анатолий, – как же! Он стал для мамы и путеводной звездой, и разбитой надеждой. Милая мама, как ты хотела, чтобы твой сын был таким же “золотым мальчиком”. Ты уверяла всех, что у Толика голос не хуже, ему только надо выучить слова и ноты. Но мне не хотелось петь, мне хотелось смаковать папиросу в подворотне и кидать ножичек в старый пень. Откуда она узнала про голос, не знаю, но это оказалось правдой. Петь я почти не пел, только напевал, когда чего-то мастерил или кривлялся, а мелодии запоминал с лету. Потом уже, в подтверждение ее мечтам, про мои необыкновенные способности ей рассказала школьная учительница, и мама абсолютно не удивилась. Очень хорошо помню, что к 45-летию Октябрьской революции нас всех построили в коридоре школы и велели петь песню “Варяг”. Я, как всегда, волянил, но вдруг песня вошла в меня, и, бессознательно поддавшись ей, я запел. Это было так, словно запечатанный в тебе звук поднялся из груди и ударил в нос, как газировка – приятно, щекотно, радостно. Я услышал, как мой голос взлетел выше хора, потом подскочил к потолку и вырвался из форточки наружу. Все затихли. Учительница строго обвела взглядом учеников.

– Кто? – спросила она. – Кто пел?

Я, конечно же, не признавался, мало ли... Но те, кто стояли ко мне поближе, толкали и шикали, чтобы я вышел. Наконец по рядам пролетело: “Это Толик Каган. Он вдруг как запоет!” Пришлось выйти из толпы.

Наша учительница Софья Алексеевна была обо мне всегда самого плохого мнения, но при этом добавляла, что мальчик, безусловно, способный и может добиться в жизни многого, если не сядет. Теперь ей предстояло открыть во мне талант, о котором никто, кроме мамы, не догадывался.

– Каган, расскажи, почему ты никогда прежде не открывал рот? – спросила строго Софья Алексеевна, посмотрев поверх очков. – Мы не первый раз собираемся на спевки к праздникам, и мне непонятно, что тебе мешало запеть раньше? У тебя же уникальный дискант. Тебе 10 лет, и пройдет немного времени, как голос станет ломаться. Нужно показать тебя специалистам в этой области. Я поговорю с твоей мамой. А сейчас попрошу всех замолчать, а Анатолий нам споет песню “Варяг”.

Я стоял, проглотив язык. Слов песни не знал и боялся, что все это закончится опять очередным колом за невыученное домашнее задание. Софья Алексеевна, не дождавшись ни звука, поняла, в чем загвоздка и попросила спеть все, что я хочу. Петь не хотелось, но и кол получать тоже. Я вспомнил пластинку, которую часто слушала мама. На ней пел мальчик на непонятном языке, но пел красиво. Я набрал в легкие воздух и затянул “Санта-Лючию”, подражая манере этого певца. По намокшим глазам учительницы я понял, что могу получить первую в жизни пятерку. Но все закончилось еще невероятнее. Софья Алексеевна села на стул, схватилась за сердце и сунула валидол под язык. Она прошептала:

– Невероятно! Второй Робертино Лоретти!

Потом я много раз в детстве слышал: “Он ничем не хуже итальянца, у него даже диапазон шире и тембр богаче”. Это неожиданное открытие повлекло за собой поездку в город, прослушивание у профессора консерватории, направление на учебу в специальный музыкальный интернат. Вся эта история мне смерть как не понравилась. Наш дворовый авторитет и мой хозяин Севка Бутц, сплюнув сквозь выбитые резцы, называл меня канарейкой и ржал, как подорванный, заставляя взять самую высокую ноту. Он презрительно осматривал сшитый мамой костюм, повязанный галстук, новые ботинки и квадратную черную папку для нот с тисненым портретом волосатого композитора. Где же она, папка эта?»

Не сразу удалось среди багажа отыскать ободранную нотную папку. Вынув ее из-под авоськи с фотоальбомами, он сдул пыль и развязал тесемки.

«Вот, нотная тетрадь, “Сольфеджио” и композитор Бетховен с перевязанным горлом. Про перевязанное горло это Бутц заметил. Я сказал, что это мода была такая – шарф завязывать, а он задвинул меня своим авторитетом: “Ты, пацан, не в теме – Бетховену горло перерезали, и он стал немым”. Я попытался возразить, что не немым, а глухим, но Бутц заткнул, как всегда, с полуслова, и я затих. Перед моим отъездом Севка загнал меня в угол и пригрозил, что сделает так, что меня вернут под конвоем и посадят в тюрьму. Артистом не стану, а буду на зоне песни орать. Я испугался. Что взять с десятилетнего пацана? Ехать мне и самому не хотелось, а хотелось быть похожим на Севку, грозу всей местной шпаны».

Господин Сухинин держал пластинку в руках. Он даже попытался что-то пропеть, но помешали воробьи, при первых же звуках шумно вспорхнувшие в небо. Анатолий вздрогнул и с грустью поглядел им вслед.

«Фрррр! Шурррр! Ишь, разлетались. Я тогда тоже вроде испуганного воробья был. Из музыкального интерната сбежал. По всей стране меня искали, пока я попрошайничал и автостопом до дома добирался. Когда вернулся, то увидел поседевшую и постаревшую мать, которой уже было

наплевать на музыку – нашелся, и слава богу! Но не к ней я вернулся, а под Севкино крыло. Бедная мама, как она страдала, а после моей первой отсидки в детской колонии тяжело заболела. Мой голос, как положено, прошел ломку, но природа, видимо, не хотела сдаваться. Голос вернулся и даже спас меня от большого тюремного срока, но это уже другая история, не имеющая никакого отношения к воспоминаниям о моей бедной маме. Она умерла, когда я еще не вышел на свободу. Умерла, раздираемая горем от непонимания того, что сделала не так. Почему Севка Бутц стал для ее сына важнее всего на свете, важнее честной жизни, важнее матери? Почему его власть была сильнее? Гремя в лучах его бандитской славы, я не понимал тогда, какое трусливое и подлое ничтожество Бутц. Много не понимал сначала по сопливости, а потом по глупости. Да разве я один? Вся страна прогибалась под властью ничтожества. Я тоже строю ходил, но потом, много лет спустя, стал видеть и слышать другое. Голос собственный, например. Так ясно его услышал, что испугался. Поначалу он был слабый, еле слышный, потом окреп. Я его водочкой, девками глушу, а он – ни в какую. Однажды ночью раскомандовался: “Проснись! Встань! На колени!” Я ему – с какого такого бодуна? И вдруг, сам не знаю, как получилось, только стою на коленях перед открытым окном. А из окна женщина на меня смотрит, и глаза у нее материнские. И тут понимаю: Мать Божья! Она и есть! Пришла и ждет. Горло перехватило, не продохнуть, что делать – не знаю. Рыдать хочется, а глаза сухие. Боль в груди невероятная и немота. Страшно стало, а в башке голос свой слышу: “Прости меня, мамочка, прости!” А потом одно за другим слова из горла полезли, да не простые, а молитвы покаянной. У кого, за что просил прощения – не знаю, да и неважно это было. Наконец слезы полились, и сразу полегчало. Они были действительно горячие, лились по небритым щекам, а я старался глаза протереть, чтобы рассмотреть получше женщину эту в окне, да так и не смог. Колотило так, что зуб на зуб не попадал и, как не по своей воле, хотелось биться головой об пол и орать, вымаливая прощение. Была ли это Мать Божья или моя несчастная мама – не знаю. Когда пришел в себя, то в пустом окне увидел розовеющее на горизонте небо. Понял тогда: новый день моей жизни наступает».

Со стороны пристани донеслись звуки сигналов точного времени. Репродуктор, висящий на столбе, прохрипев, сообщил, что отплытие парома откладывается на неопределенное время. Сквозь его щель робко просочились первые ноты «Санта Лючии». Музыка, набирая силу, полилась сверху. Казалось, что ею сейчас захлебнется все вокруг: и сквер, и воробьи, и стоящий у столба господин. Он, задрав голову, смотрел на репродуктор, то разевая, то захлопывая рот, словно отплеиваясь под струями в душе. Его лицо разгладилось, помолодело, а в уголках закрытых глаз блеснули слезы. Когда из горловины репродуктора упала последняя нота, пропетая легендарным мальчиком из далекого прошлого, господин очнулся. Бросив на землю пластинку и стукнув по ней каблуком, он исполнил на ее осколках нечто вроде дикой джиги, после которой обессиленно свалился на скамейку.

«К черту все! Больно. Ух, как больно! Тяжело! Да, тяжело. Может, этот малахольный паромщик прав? Зачем это? К черту все выбросить!»
Произошла удивительная вещь: вереница багажа поредела. Там уже не было фельдшерского баула, коробки с рукоделием, музыкальной папки, а глаза его метались в поисках чего-то важного. Наконец это что-то отыскалось. Рыжий облезлый чемоданчик с вмятиной на боку и с вырезанными буквами А.С.

«Дружочек мой, – присел над ним господин Сухинин, – признал хозина? Давай, браток, открывайся. Сколько ж ты намотал со мной по тюрьмам и лагерям?»

Рука, поблескивая дорогими часами, нежно гладила мятые бока чемоданного уродца.

«Первый срок был два года в колонии для несовершеннолетних, а второй – пятнадцать строгого режима, но нам с тобой семерочку скостили, а Севка Бутц загремел под вышак. Не удалось ему нас с тобой затянуть, а крутился как вошь на аркане. Все на меня повесил, падла если бы не ласточка наша – кранты».

Анатолий вытянулся на скамейке, положив руки за голову. Он мечтательно уставился в небо, по которому медленно ползли, толкаясь и налезая друг на друга, невесть откуда взявшиеся тучи.

«Помнишь, друг чемоданище, это было ее первое дело. Она, вроде первоклашки, вела его под надзором главного следователя. Любовь Ивановна. Любочка, Любонька... Молодая, не красавица, но глаз не оторвать. Краснеет, бледнеет. Волосы светлые, со лба наверх зачесаны, коса тяжелая, на носу веснушки, и взгляд твердый. Говорила хорошо и вопросы четкие задавала. И ведь в конце концов раскопала, чего никому до нее не удалось. Правду на свет выудила. Севку засадила, меня вызволила. А как я на свободу вышел, любовь у нас с ней случилась настоящая, с большой буквы Любовь, как она сама. Тут в чемоданчике много чего от нее осталось, только вот ее самой уже давно нет».

Недолго порывшись, он, как фокусник, извлек из чемодана алые кораллы.

«Вот, например, бусы эти. Мой подарок Любаше. Теперь они одна к одной на ниточку нанизаны, а было дело, когда пришлось их в конус газетного кулька ссыпать пригоршнями. Случилось это перед самым Новым годом. Заехала Любаша прямо с работы ко мне. Был предпраздничный короткий день, а она его еще короче сделала, чтобы успеть повидаться. К вечеру должна была вернуться домой к мужу. Ох, как ясно и сладко помню этот день. За окном тогда мороз стоял лютый, а от нас жар шел такой, что можно было на животах блины печь. Целовал я Любашу сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее – губы, щеки, лоб, шею. Случайно нитку потянул, а бусины как из ружья выстрелили. Рассыпались вокруг, как рябина по снегу, по телу ее белому, по простыне смятой. Огорчилась она, ведь только надел их на нее. Я бросился собирать, а она в горсть сгребла и в меня швырнула. Хохочет, голову закидывает, как девчонка. Когда она ушла, я каждую бусинку отыскал, в кулечек сложил, а потом на леску нанизывал. Ждал ее прихода, чтобы отдать, но не взяла, потому как дорогие, муж не поверит, что сама себе купила. У него каждая копейка была на счету. За пять лет их семейной жизни ничего ей не дарил, а если она что покупала без его ведома, то скандалил безбожно. А бусы ей очень понравились, она их у меня дома надевала. Я все ждал, что Люба наконец решится и уйдет от мужа. Не успела. Забеременела, но не знала, от кого из нас ребенок. Когда родила, и сынишка подрос, все стало на свои места, но ей уже никто не смог предъявить претензий».

Господин Сухинин выудил из чемодана мятый лист, сложенный вчетверо. Он осторожно развернул его, еле удерживая в руках от дрожи.

«Неужели это афиша? С ума сойти! Та самая! Выступление тюремного хора в сопровождении, под управлением... и т. д., и т. п... А, вот: "солист – заключенный Анатолий Сухинин". Это Любочка ее сохранила. Она тогда в первом ряду сидела. Выхожу на сцену, как увидел

ее – горло сдавило от волнения, а потом такой кураж наступил, что соловьем запел, не иначе. Тогда, наверное, она меня и полюбила и пошла на все, чтобы помочь. Поверила мне, помогла, а чем я ей отплатил? Вот тут пучок травы лежит, вот уж сколько лет, а запах остался, и его ни с каким другим не спутаешь. Полынь».

Он наклонил голову и втянул носом запах травы, растертой в руках. «Нашли Любоньку в полыни на обочине дороги, истекшую кровью от ножевых ранений. Она тогда поперек одного авторитета стала. А возвращалась в ту ночь от меня, со свидания тайного. Спешила домой, говорила, что грешница – муж с малым дитем нянчится, а она с любовником кувырается. Я тогда не отпускал ее, за руки держал, кричал, что все равно она будет моей, и ребенок тоже мой. Она смеялась, потом злилась, потом вырвалась и убежала...

Конечно, следствие и до меня дошло. Чуть опять не загремел, но тут авторитет, убивший Любу, спалился. Сдали его. Меня отпустили, но жить не хотелось. Муж Любы про нас с ней ничего не знал, а как все раскрутилось после ее смерти, так решил меня наказать. Сам он мужик болезненный, хилый, но злой как черт. С ребенком замутил. Экспертизу затребовал. Экспертиза его отцовство не подтвердила, тогда он удумал мальчишку в детдом сдать. Я потребовал сына себе, а мне не дают – две судимости, нет постоянного места работы, жилищные условия не позволяют. Короче, спихнул он ребенка Любиной маме. Я к той прихожу, а она на меня волком смотрит. Говорит, что я во всем виноват. Сидела бы Люба дома с мужем, по свиданкам не шлялась, и не напали бы на нее бандиты. Пытался я ей объяснить, насколько глупы ее доводы, но куда там – крик, слезы, шум. Так Лешка и остался жить с бабой Шурой, не зная, что у него на свете родной отец есть».

Анатолий обхватил голову руками и встал со скамейки. Он нервно ходил взад-вперед, глядя под ноги. Как зверь в клетке.

«Понесла меня неладная в столицу счастья искать – не шли из головы Любочкины слова: “Соловей мой сладенький, обещай, что артистом станешь, что все услышат, какой ты у меня...” Приехал в Москву, стал пороги обивать: Гнесинка, консерватория, но, может, возраст был уже не тот, и тюрьма свое дело сделала – еще рот не успевал открыть, как за версту чуяли во мне уголовного, а вот братва сразу к рукам прибрала. Начал с ресторана, шансон, туда-сюда... Авторитеты приходили послушать меня. Башляли так, что перестал считать, а потом сошелся с одним народным артистом России, который крутых ребят крышевал. В музыкальный бизнес он меня не пустил, опасался конкуренции, а вот научил многому, с людьми полезными свел, и понеслось – паленая водка, рэкет, краденые машины, казино, проститутки, а потом и посерьезнее дела закрутились на государственном уровне. Про сына Леху забыл, а когда бабка померла, он меня сам разыскал. Но я подумал, что легче откупиться, чем тащить его к себе. Денег предлагал, но сын ничего не хотел: ни денег, ни подарков – только меня, только и нужно было, что плечо отца. А я – что я? Да мудака последний, ради чего сына оттолкнул? Ради пьянок, шлюх, говна всякого. Тут где-то в чемодане его пустышка, мне её Любаша принесла. Сказала Лёшке, что волк унес. Думала выбросить, а потом решила мне принести, потому что я и есть настоящий одинокий волк. Хоть и отец Лехин, но тот еще волчара... И любит она меня за это сильно. Где же эта пустышка?»

Господин Сухинин влез с головой в чемодан, и оттуда полетели какие-то бумаги, тряпки, теплые носки, вязаная шапка. Со звоном стукнулись об асфальт железные ложка и кружка. Он искал и не находил

того, что хотел. Вытряхнув все содержимое чемодана, как старьевщик, внимательно осматривал каждую вещь. Так и не найдя желаемого, стал в ярости пинать рыжий чемодан.

«Ты не сохранил единственную память о сыне! Старый дырявый урод, ты специально ее уничтожил. Я ненавижу тебя!»

Под натиском ударов чемодан развалился на две створки, как раковина, побитая волной. Господин Сухинин, он же зэк по кличке Солист, отошел от разбитого чемодана, увидев неподалеку неказистый рюкзак с оторванной шлейкой.

«Идиот, вот же Лехин рюкзак! Мне же его санитары отдали в больнице. Как же я забыл? А забыл, потому что больше всего на свете хотел это забыть».

Поставив его рядом на скамейку, Анатолий Яковлевич взялся за язычок молнии, но передумал и оттолкнул. Рюкзак откатился на край скамейки.

Схватившись за голову, он завыл.

«Никогда, слышишь, больше никогда ты не откроешь этот ящик Пандоры! Достаточно было одного раза. Ты и так помнишь все, что в нем есть. Оно высасывает тебя, выедаёт, приходит в ночных кошмарах. Ты пил и ширялся, чтобы забыть и забыться, но не помогало. Твой мальчик, твой единственный сын опять и опять падает с моста на полотно автострады, а ты опять и опять вздрагиваешь, увидев в почтовом ящике конверт с прыгающими корявыми буквами. Этот конверт там, в рюкзаке. Письмо твоего сына, предсмертное письмо. Оно пришло по почте через два дня после его похорон. Ты помнишь наизусть его содержание и, закрывая глаза, ты видишь, как поползли строчки вниз по правому краю, как расплылись в некоторых местах буквы. Ты почти ослеп от слез и с трудом различаешь текст, но ты читаешь опять и опять и не можешь остановиться.

“Здравствуй, папа! Я знаю, что ты хотел меня забрать, когда я был маленьким, но тебе не дали. Баба Шура сказала, что не хотела отдавать меня уголовнику. Я лично не вижу ничего страшного в том, что ты сидел в тюрьме. Я тоже хотел сесть. Тебе я нафиг не нужен, никому не нужен. Ты не хотел со мной жить, но я не обижаюсь. За деньги, которые ты присылал, спасибо. Мне на все хватало. А потом хватало только на наркоту. Стали меня насильно лечить, а доктор сказал, что депрессуха у меня, и надо электричеством по голове шандарахнуть. Стало еще хуже. Я ничего не помню, но говорили, что я орал на всех, бросался и требовал на голову кожу вернуть. Меня связывали и делали уколы. Из больницы я вышел неделю назад. Чувствую себя хорошо, только жить не хочу и не буду. Я чего хотел сказать: ты не подумай, я тебя в своей смерти не виню. Это все баба Шура виновата, но и ее чего уже винить – она и так мертвая. Если бы ты тогда меня забрал, то из меня, может, тоже чего хорошее вышло. Ну, прощай. Пусть напишут на могиле, что я – Алексей Анатольевич Сухинин. Хорошо? А ты – супер! Я тебя в телеке видел. Крепко целую и обнимаю, твой сын Алексей”».

Анатолий Яковлевич Сухинин сидел, бубня под нос что-то вроде считалки:

Две книжки, мячик и бейсболка,
вьетнамки, треники, футболка,
фломастер, скрепки, сигареты,
печенье, мятые конфеты.

Конверты, марки, зажигалка,
свисток, фонарик, открывалка,
два фото – Любы и мое,
носки и нижнее белье.
Не нужно это никому –
ни мне, ни Любе, ни ему.

«Отпусти меня, мальчик, прошу тебя. Все, как ты просил, я сделал. На памятнике написано: Алексей Анатольевич Сухинин (1990 – 2005), а под этим: “Любимому сыну – скорбящий отец”, а памятник такой, что люди издалека приезжают на него посмотреть. Я лицей большой построил в память о тебе. Лешка, будь другом, отпусти».

Репродуктор над кассой прохрипел объявление о том, что паром отплывает через два часа. Господин на скамейке никак не прореагировал. Он сполз на землю и, казалось, потерял сознание. Репродуктор продолжал хрипло вещать, а господин валялся в пыли, не обращая внимания на стайку воробьев, которая, осмелев, подлетела к нему совсем близко. Смелый воробей вспорхнул и уселся ему на плечо, целясь клюнуть блестящую запонку, болтающуюся на расстегнутом рукаве рубашки. Анатолий Сухинин очнулся и вслушался в текст, доносящийся из репродуктора. Вдруг заиграла веселая румба, и Анатолий вздрогнул. Он стукнул себя по карману. Радость, что его мобильник ожил, заставила вскочить, судорожно нащупать телефон, быстро вынуть и тут же простонать: «Черт, черт! Сорвалось! Кто звонил, почему нет номера на определителе? Может, Павел, а вдруг она? Нет, после того, что я ей наговорил...»

После долгих отчаянных попыток набрать разные номера Анатолий Яковлевич безнадежно махнул рукой, но не спрятал телефон в карман, а продолжал гипнотизировать его взглядом.

«Ну, давай звони, зараза! Ведь так не бывает! Везде ловил, в любой дыре, а тут – нет».

Анатолий поводит пальцем по экрану айфона. Телефон был мертв.
«А ведь действительно, она могла на этот раз всерьез обидеться. Господи, что за бред! Не обижается она на меня, уже давно не обижается. Где же это, а вот...»

Анатолий щелчком открыл на айфоне фотографии и улыбнулся.
«Это наша первая вылазка в Париж. Как она этого хотела! Боялась, что ее дочь пронюхает и устроит истерику. До чего злючая девка! Здоровая тетка – в этом году школу закончила, а мозги как у первоклассницы. Впилась в мать, кровососка. Ниночка рядом с нею – как воробышек, а дочь вся в мужа-бугая, царство ему небесное. Боксером был в тяжелом весе, потом в охранники пошел. Не повезло парню, погиб, как говорится, на рабочем месте. А мне повезло: девочка моя в тридцать пять овдовела, а в сорок меня встретила. В тот день гололед был чудовищный, а она как с неба свалилась под колеса моего “мерса”. Водитель Сашка, дай бог ему здоровья, в сторону машину увел. Побились страшно, а она лежала на дороге бледная, без сознания, с ногой странно вывернутой, будто кукла сломанная. Лицо ее тогда меня поразило – так ангелов пишут. Лоб чистый, высокий, нос тонкий, а губы детские, припухлые. Пока глаза были прикрыты, так я еще ничего, а как их распахнула – аж зажмурился. Океан бирюзовый – вот какие глазищи! С ума сойти! Я потом, после того как в больницу привезли, у Сашки своего спрашиваю: “Это мне показалось, или она действительно супер-класс?” А он мне: “Может, и была когда-то, но слишком уж того – старовата”. Я еще раз взгляделся – все замечатель-

но, и даже морщинки тоненькие, и тени у губ только усиливают ее красоту. Вернее, даже не красоту, а что-то нездешнее, потустороннее. Прозрачность какая-то, что ли, чистота. Имя свое назвала – Нина, потом поправилась – Нина Александровна, чтобы возрасту своему соответствовать, который только в голове ее и есть. Нина, Ниночка – тоненькая ниточка. Оказалось, что она врач-педиатр. Не для меня, вроде, доктор, а лечит все мои болячки, и телесные, и душевные. Никогда у меня еще такой не было».

Анатолий отложил в сторону айфон, встал со скамейки и, возбужденно обежав ее, отжавшись руками о спинку, легко перепрыгнул.

«А ведь без дураков влюбился. Не думал, что вернется эта особенность организма. После Любы все отмерло, и вдруг – на тебе, вот оно! Все обострилось: зрение, обоняние, осязание, что там еще есть – не знаю, но как будто кожу содрали, из панциря вынули, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Трясет и к телефону ведет, как под кайфом. По рукам бьешь, а хочется слышать ее голос, хоть сдохни. А когда слышишь – эрекция вдруг сумасшедшая. Она там деток простукивает, прослушивает, телефон отключает, а ты представляешь ее в постели с накачанным самцом. Бред, а хорошо! Все хорошо: и ревность, и ожидание, и обладание, и пролёты. Вроде сорванного джек-пота и мгновенный проигрыш его. Самое удивительное, что никто вокруг не находил ее красивой. Собственно, только раз решился представить Нину своим. Паша скривился и прямо сказал, что так и не понял, на кой ради нее я бросил всех моих прежних девочек. Он считал, что среди них были и большие красавицы, и большие умницы, а главное – их средний возраст ненамного превышал половину возраста новой избранницы. Объяснять ничего не хотелось, мы с Ниной просто спрятались от всех. Кое-кто считал, что эта странная история с немолодой врачом – следствие нервного перенапряжения из-за финансового кризиса. Всякое говорили, например, что врачиха закармливает меня какими-то таблетками, дабы поднять потенцию. Шушукались, что я стал полным импотентом и девчонок уже не тяну. Авторство этих мулек было очевидным: не могли мои киски смириться с такой потерей. Называя нас «сухофруктами», горевали, что навар становился пожиже. Дай бог им здоровья – юным подружкам, готовым ради лишней пары сережек или колес (кому как повезет) мириться с тем, что старостью пахнет наш пот, сыплются волосы, желтеют ногти. Они терпят и моются усердно после каждого соития. Они ждут и надеются».

Анатолий Яковлевич растянулся на скамейке лицом к небу. Солнце медленно катилось на запад, растекаясь по земле медовым предзакатным светом. Он прикрыл глаза и, казалось, заснул, как вдруг, сложив губы трубочкой, просвистел невнятную мелодию.

«Черт, забыл эту композицию. Ей она нравилась. Это был джазовый фестиваль в Эйлате – наш последний побег. Как я мог забыть мелодию! Очень известная композиция этого, ну, как его... Как же так! Я же напевал это круглыми сутками... И под эту музыку мы круглыми сутками занимались любовью. Почему я должен был именно это забыть?! Самое плохое, что это даже не забывается, а стирается. Уже проверено. Хочу вспомнить то, что хорошо знаю, что должно быть на том самом месте, где было всегда, но оно пропадает бесследно. Остается черная дыра – пустота. Чем ближе по времени событие, тем больше вероятность, что я его забуду. Это началось как раз после той нашей поездки в Израиль. Сначала было ощущение грязи в мозгах, потом начались эти провалы. Ниночка тогда настояла на обследовании. Когда результаты получили, попыталась скрыть. Я по ее глазам опухшим догадался. Мой дорогой детский доктор

пыталась вселить в меня надежду – медицина, мол, сейчас многое может, этот диагноз не приговор, будем бороться. Знаю, что не в медицине дело. С диагнозом ты или без, никому не дано знать, когда и сколько осталось. Поэтому каждый день принимай как отсрочку. И проживи его, и засни, и проснись с радостью. А я изговнял все. Прогнал ее, чтобы не видела, как слюни пускаю, как падаю и блюю. Не уходила. Как с ребенком капризным разговаривала. Все терпела: мат-перемат, грязные провокации. Улыбнется и голову мою лысую обцеловывает. Старый козел. Она ушла от меня, и я теперь долго тут не задержусь. Не хочу. Зачем?»

Анатолий Яковлевич как-то на глазах постарел. Он сел, тяжело откинувшись на спинку скамейки. Его глаза смотрели в пустоту без выражения, а губы, крепко сжатые, слегка подрагивали.

«Давит эта мерзость на мозги, ох, как давит. И все быстрее выпадают части целого. Я вот уже не помню, как тут оказался. Зато хорошо помню слова старика-паромщика про багаж и квитанцию. А о каком багаже он говорил?»

Господин Сухинин огляделся по сторонам. Ни вокруг скамейки, ни на ней самой ничего не было. Куда-то делись чемоданы, баулы, рюкзаки и коробки, даже кейс, служивший подушкой, непонятным образом исчез. Теперь господин Сухинин был совсем налегке. Он снял галстук, расшнуровал туфли, стал стягивать через голову рубашку, как вдруг со стороны причала раздался гудок и громкоговоритель хрипло загундосил: «Сухинина Анатолия Яковлевича, родившегося 1 февраля 1953 года в городе Москве, просят пройти на посадку. Необходимо иметь при себе документы. Быть одетым в парадный костюм. Паром отходит сегодня, 27 июля в 19.25. У вас есть пять минут для прощания с провожающими. Можно воспользоваться телефоном или оставить записку».

– Телефоном? Издеваетесь, что ли? Записку... Какую записку? – заорал он. – Почему я должен быть в парадном костюме? Кто ты такой, дед? Слышишь меня, там, на переправе, ты совсем, что ли, съехал, а, старичок? Я передумал ехать, понял?

Репродуктор кашлянул и невозмутимо продолжил: «Сухинин Анатолий Яковлевич! Срочно пройдите на посадку. Вам выписан билет вне очереди по вашему требованию».

Господин Сухинин тяжело поднялся и направился к пристани, еле передвигая ноги. Неожиданно опять зазвонил телефон. Анатолий Яковлевич дрожащими руками поднес его к уху.

«Ниночка, чудо мое, как же ты дозвонилась? Тут давно никакой связи. Я должен ехать, меня зовут. Не ехать? Тебя ждать? Да-да, конечно. Сколько надо, столько буду... Да, скажу, что остаюсь. С кем договорились, с хирургом? Нет, отказываться не буду. Ты права, надо попробовать. Я был дураком, прости. Ты же скоро, да? Да не волнуйся, никуда не поеду, тут паромщик малахольный какой-то, кричит, что теперь мне на следующий паром, но когда – неизвестно. Они уже отплывают. Да-да, без меня... Как хорошо, что ты позвонила...»

Нарядно одетый господин сидел на скамейке в сквере города N, и лицо его светилось от счастья. Он не видел, как за его спиной по реке плывет новый паром с паромщиком, похожим как две капли воды на того, прежнего. Паром медленно причалил, но никто в городе N не знал, по чью душу он прибыл на этот раз.